

И. А. БУНИН. ОКАЯННЫЕ ДНИ

Есть нечто общее между описанием революции в «Окаянных днях» и ее отражением в «Двенадцати» Александра Блока — поэта, которого Бунин искренне ненавидел. И перед Блоком и перед Буниным революция предстала прежде всего как хаотичный водоворот — криков, жалоб, слухов, покаяний, разоблачений, — водоворот, захлестнувший человека, вовлекший его, вопреки желанию, в пучину хаоса и душевной смуты. Из этого хаоса ему уже суждено было выйти иным: обновленным — по Блоку, умудренным — по Бунину, но одинаково непохожим на «человека ветхого». Пестрота художественных приемов «Окаянных дней» и «Двенадцати» очень хорошо выявляет эту хаотичность: романс сменяется частушкой, революционный марш — элегией, «сухая» цитата их газет — беллетризованными «живыми картинками», публицистическая статья — философскими раздумьями. В этой стилевой разноголосице и преломилась своеобразная «разорванность» существования человека в революции: потеря им прежних ориентиров, крушение старых идеалов и обретение идеалов новых, отказ от мира и интерес к миру. Человек ищет — но его путь труден и неизведан, он объят прошлым, но думает о будущем, он пытается понять свое время, а «кто умножает познание, тот умножает скорбь». В этой паутине сомнений и раздумий, ежедневно менявшихся настроений, в напластованиях разноречивых мыслей и чувств и начиналась новая жизнь, представшая перед Блоком и Буниным.

Стало обычным говорить о беспристрастности, «полифоничности» Блока, призывавшего «слушать музыку революции», и пристрастности Бунина, революцию проклявшего. Бунин и сам признавал, что он не мог оставаться сторонним наблюдателем, но он и оправдывал себя. «Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно» — это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей

беспристрастности все равно никогда не будет. А главное — наша “беспристрастность” будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна “страсть” только “революционного народа”? “А мы-то что же не люди, что ли”», ³⁵⁴ — читаем в одной из февральских записей 1918 г. Пристрастность очевидца для него не менее важна, чем нарочитая сдержанность нейтрального регистратора происшествий. Ненавидящий видит яснее любящего — не случайно на эту мысль обратил внимание в своем дневнике Бунин. Нам по особому передается тревога революции, отчаяние ее жертв, непримиримость ее участников, жестокость ее проявлений — то, что было так заглушено шумом литавр в революционных одах. Оценки и исторические экскурсы Бунина удивляют своей упрощенностью и в чем-то даже примитивностью — достаточно только узнать, что он говорит о причинах Февральской революции. Но так ему легче выразить свои чувства, облечь их в сентенции и афоризмы, высказать протест — а разве протест совместим с многословным, оправдывающих себя и других, и правых и виноватых, всепрощающим, подробным исследованием истоков революции. Бунин стремится как можно точнее передать не столько свои наблюдения, сколько свои ощущения. Он кричит, а для крика непривычна рассудительная многословность, крик — краток и громок. Бунин — не историк революции, он ее жертва, но здесь он выступает и как ее пророк, он «отчасти знает и отчасти пророчествует». И в этом пророчестве есть нечто, сближавшее его с Достоевским. «Да — сказала она с мукой. Нет — возразил он с содроганием», — так иронично Бунин определял, по воспоминаниям Г. Адамовича, ³⁵⁵ основную формулу творчества Достоевского — но разве не повторен этот надрыв, пусть и по другому, во многих строках его книги.

«Окаянные дни» — очень своеобразный литературный памятник. Его особенности ярче проявляются при сравнении с другими дневниками, которые оставил нам Бунин, и прежде всего — с дневниковыми записями 1917–1918 гг. Последние обращают на себя внимание сжатостью, конспективностью, большой интимностью — это именно личные записи, не предназначенные для публикации. Революции посвящены многие страницы дневника 1917–1918 гг., но Бунин здесь лишь летопи-

³⁵⁴ Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С. 71–72.

³⁵⁵ Адамович Г. Бунин. Воспоминания // Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары. М., 1994. С.15.

сей событий, хотя и весьма субъективный. Текст очень краток, в нем многое недоговаривается, многое оборвано на полуслове, часто отмечается то, что понятно лишь автору. В отличие от «Окаянных дней», автор дневника 1917–1918 гг. почти не вглядывается в себя, не исследует себя, он замкнут, отъединен от читателя. Импрессионистичность описаний, присущая и «Окаянным дням», в дневнике 1917–1918 гг. проявляется наиболее выпукло и обнаженно. Сложный мир человеческих страстей, политических и бытовых распрей, волнующий мир природы. Все отражено фрагментарно, все, словно прожектором, лишь частично выхвачено из темноты и высвечено — то ли случайно, то ли нарочито: «На мужицких гумнах молотба, новая соломаazole тока, красный платок на бабе...».³⁵⁶

В Дневнике 1917–1918 гг. особо обращает на себя внимание описание природы. Оно столь пластично, ярко, многоцветно, что возникает ощущение, будто это черновик будущей повести: «Клены по нашему садовому ... необыкновенные. — Сказочный — желтый, прозрачные купы. Ели темнеют — выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге — тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по весеннему сверху — удивительно раскрыта. Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете. Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке — дубы все шуршат, все бронзово-коричневые».³⁵⁷ Некоторые дневниковые записи 1917–1918 гг. и являются преимущественно описанием различных ипостасей природы, в которые, словно для связности текста, изредка включается и рассказ о бытовых происшествиях.

Структура и содержание «Окаянных дней» намного сложнее и необычнее дневниковых записей 1917–1918 гг. Это и политический памфлет, и философское сочинение, и собрание цитат, и импрессионистичные «живые картины», зачастую без комментариев автора, и читательский дневник, и запись слухов, и отклик на политические события и житейские поступки. Хаотичность составных частей «Окаянных дней», однако, во многом кажущаяся. Цитаты подтверждают непосредственные

³⁵⁶ Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С. 29.

³⁵⁷ Там же. С. 39–40.

впечатления автора, слухи упрочивают их, прочитанные книги укрепляют его антиреволюционный настрой, «живые картины» — яркая иллюстрация к прочитанному и обдуманному. Словно незримой нитью, все части «Окаянных дней» связаны между собой и подчинены одной цели — выразить протест против революции.

Политическое пропитывает все дневниковые «московские» и «одесские» записи 1918–1919 гг. Даже когда политические рассуждения прерываются какой-либо «живой картиной», явно не связанной с предыдущим текстом, то вывод, «мораль» таких полубеллетризованных описаний вновь возвращает нас к антиреволюционным филиппикам автора — хотя и не всегда прямо, зачастую через подтекст: «Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось по слухам мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель».³⁵⁸ Даже в коротких записях наблюдений, не связанных напрямую с политикой, все равно ощутима скрытая политизация текста. «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут, облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?»³⁵⁹ — здесь запись имеет тот же оттенок, как и негодование при описании другой «бытовой» сцены: «Молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил: — Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропилил двадцать тысяч».³⁶⁰ Но и выступая как политик, Бунин продолжает оставаться художником. Его политическое кредо часто выражено через образ — и потому нередко так убедительно и бесспорно. Типичный художественный прием Бунина — передача прямой речи, позволяющая, даже при отсутствии авторских ремарок, ярко и пластично рассказать об облике современников тех лет. Возможно, в чем-то эти речи стилизованы — уж очень они красочны, «цитатны», как сказал бы О. Мандельштам. Но не упустим из виду и дру-

³⁵⁸ Там же. С. 157–158.

³⁵⁹ Там же. С. 73.

³⁶⁰ Там же.

гое. Бунин прежде всего обращал внимание на сумбур полуграмотной низовой речи, комичность словоупотребления, смешение политических клише и обиходных народных выражений. Ему не нужно было ничего приписывать, сочинять или приукрашивать. Для художника Бунина, так строго относившегося к слову, выглядит естественным каждодневное наблюдение за неправильной речью. В «Окаянных днях» отчетливо виден весь спектр его оценок нового, непривычного языка: частое отрицание, обычная ирония, редкое одобрение. В дневниках заметен и его интерес к необычному слову и любованию им. Меткое слово повторяется автором и для подтверждения своих мыслей, хотя не только лишь интерес к чужой речи характеризует палитру художественных средств писателя. Они разнообразны. Диалоги и монологи в «Окаянных днях» по сравнению с дневником 1917–1918 гг. более развернуты и драматичны, описание более живописно и напрямую обращено к читателю. Но «Окаянные дни» — это прежде всего политический дневник. Бытовые зарисовки здесь обычно всегда сопровождаются политическими ремарками — иногда они выглядят как импровизации, иногда отчеканиваются в длинные авторские отступления. Последние выявляют условность формы дневника. Видно, что он не просто фиксирует ежедневные наблюдения автора, но и является записью его политической рефлексии, включавшей раздумья не только о дне прожитом, но и обо всем революционном времени. В «Окаянных днях» очень мало столь характерных для дневниковых записей Бунина предыдущих и последующих лет описаний природы. Они вытеснены пересказами слухов, и может быть, не случайно: слухи так же целебны для Бунина, как и другое лекарство — обращение к природе. Дневник Бунина — это царство слухов. Записи слухов начинаются уже в «московской» части «Окаянных дней» — тут и Блок, назначенный секретарем Луначарского, и свергнутый большевиками московский градоначальник, ставший одним из «главнейших тайных советников в «Совете рабочих депутатов»».³⁶¹ Кажется, что слухи порой заслоняют автора, они нередко повторяются и противоречат друг другу, они часто вытесняют со страниц дневников наблюдателя-очевидца. Возникает ощущение, что слухи как-то незаметно уже подменяют собой реальность, вернее, сами становятся реальностью. Автор часто рассказывает о происшествиях, свидетелем

³⁶¹ Там же. С. 80.

которых он никак не мог быть, без каких-либо оговорок, словно это случилось с ним самим. В слухах, отмеченных Буниным, прежде всего улавливаются две ноты: это произвол революции и ее грядущий крах. Слухи, рассказывающие об угрозах, грабежах, конфискациях, унижениях — одна из тех лабораторий, где выковывались антиреволюционные убеждения писателя. Они подтверждали его собственные наблюдения, упрочивали их, придавали им вескость, позволяли видеть в частном общее.

Но слухи имели и другую сторону. Они не только освещали, пусть и искаженно, лики настоящего, они отражали и те ожидания, которыми буквально поминутно жили люди в эпоху революции. «Оптимистические» слухи о поражениях большевиков, их разложении, об успехах Деникина, о близости освобождения из «красного плена» — это то лекарство, которое помогало выстоять в те трудные времена. Слухи занимают в «Окаянных днях» столь значительное место не только потому, что автор мало знает об окружающем его мире, но и потому, что он и не хочет многого знать, он хочет знать только то, что желает знать. Никто, как пишет Бунин в своих дневниках, «не может не солгать, не может ни прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. *И все это он нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется...* Иначе не выжил бы и недели»³⁶². «Оптимистические» слухи — словно вторая, параллельная жизнь Бунина, жизнь, обещающая лучшее, жизнь, манящая надеждами. Без нее существование было бы неполно, бесцветно, мертво.

Может ли быть объективным свидетельство, основанное на слухах? Нет, скажем мы, — но здесь возникает другой вопрос: о чем мы хотим узнать? О чувствах человека, обожженного революцией, или о самой революции — событии столь сложном и многомерном, что о нем не смогут с исчерпывающей полнотой рассказать и сотни свидетелей?

Можно долго говорить о том, насколько соблюдено в «Окаянных днях» равновесие между «негативным» и «позитивным», и спорить о том, что такое дневник Бунина — сплошной обвинительный акт или стенограмма революции, пусть и искаженная, но все же отразившая проблески чужой «правды». «Окаянные дни» — не летопись событий, а свидетельство морального выбора. Для Бунина правда о революции, которую требовал

³⁶² Там же. С. 99.

Блок, равнозначна ее приукрашиванию. Нравственное является единственной истиной, все что противоречит ей — ложь. Бунин ежедневно слышит рассуждения о том, что революция — действие сложное и всеохватывающее, что ее творцы — и победители и жертвы, что надо признать, наряду с «ложью», и «правду» революции, что в ней есть не только темное, но и светлое. И всему этому Бунин четко и безапелляционно говорит — нет! Бунин не хочет признать революцию, потому что главное, что он в ней видит — это насилие, а насилию он подчиняться не будет. Разговоры о том, что революционеров нужно просвещать, несмотря на все их преступления, Бунин отвергает напрочь, ибо просвещающий тоже становится частицей того мира, который мерзок и отвратителен. Бунин видит связь между оправданием революции и ее эксцессами, считая именно такое оправдание карт-бланшем для насильников: «надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему я не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайной ... и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками... Это ли не крайний ужас, что я *должен* доказывать, например, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту *хряпу* ямбам и хорям, дабы она могла воспевать, как ее со товарищи грабят...»³⁶³. Здесь почти каждое утверждение сразу вызывает желание оспорить его: реалии всегда сложнее, обстоятельства запутаннее, связь между причиной и следствием зачастую и неявна и необычна. Бунин спрямляет этапы, переходы, напластования, опосредования и показывает эту связь столь нереально обнаженной, что хочется возразить — так не бывает! Но у Бунина своя логика правды. Помогать — значит продлевать дни того порядка, при котором можно грабить, унижать, уничтожать. И не имеет значения, кому помогать — доморощенному любителю стихов или палачу чрезвычайки — виноваты все. Новый режим, как винтиками, держится малыми делами, незначительными поступками, безобидными увлечениями. Он держится низовым бытом и через быт цементируется, становится чем-то, с чем можно сжиться, что можно потерпеть. И человек, пытающийся выразить свой революционный восторг полуграмотными виршами, упрочивает этот аморальный для Бунина режим временами лучше, чем одиозный чекист. Попро-

³⁶³ Там же. С. 117.

буешь разглядеть «кристальную чистоту» в облике палачей, как это делает Волошин, — и уже признаешь олицетворяемый ими режим чем-то, что достойно существования, и значит, оставишь лазейку для палачества, ставшего частицей этого режима, — вот мысль Бунина.

В описании тех, кого он ненавидел, Бунин не допускает каких-либо полутонов. «Вы тоже — жертвы века», — обмолвится позднее о революционерах Б. Пастернак, но для Бунина такой взгляд неприемлем. Как это ни парадоксально, Бунин зачастую демонстрирует ту же нетерпимость к чужой культуре, бытовой и духовной, какую он обнаруживает в обличаемых им «красных». Бунин не желает допытываться причин неприязни низов к «бывшим», он не ищет истоков перелома эпох. Для него разрушение — это только разрушение, но никак не созидание, хам — это не заблудший, который может со временем покаяться, но только хам, без каких-либо оговорок. Новый «хозяин земли русской», грубый и жестокий, — символ революции по Бунину и зачем дробить его образ, выискивая в нем и светлое и темное — он нужен писателю именно цельный, для того, чтобы точнее высказать все, что накопело на сердце. Люди революции для Бунина — это обычно «похабная солдатня» и «отборные каторжники». И не хочет он даже приблизиться к ним, разглядеть за «каторжными» лицами отпечаток судьбы, личности, духовного мира революционеров. Те, кто призывает оценивать революцию во всей ее полноте, вызывают у него откровенную неприязнь. «"Блок слышит Россию и революцию как ветер". О словоблуды!.. Им все нипочем», «"Революция — стихия..."». Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются» — такими записями пестрит бунинский дневник.³⁶⁴

Сумбур, присущий поступкам и речи людей из низов, принявших революцию, Бунин отталкивает сразу и бесповоротно. Он видит и удивляется, как в одном человеке могут ужиться стихийный большевизм и ненависть к «голытьбе», доверие к «барину», иногда пересказывает без комментариев его речи, считая их «очень странными вещами». Но он не делает даже попытки подробно рассмотреть этот мир хаоса и сумбура. Это не его мир, «смятение чувств» провозвестников новой жизни ему неинтересно и кажется чем-то исключительным.

³⁶⁴ Там же. С. 93, 108.

В дневниках Бунина довольно редко можно найти мягкое, доброжелательное описание современников. Преобладают лица жесткие и грубые — и даже не лица, а «типы». Те, кому сочувствует писатель, — это обычно жертвы, и рассказ о них приобретает даже какой-то агиографический оттенок. Главное чувство, которое они вызывают, — жалость и сострадание: «На Тверской бледный старик — генерал в серебряных очках и в черной папаше что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий», «встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала: — Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться?». ³⁶⁵

Отрицание революции выявляется на страницах дневника по-разному, и не всегда прямо. «В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову “в обчем”» — вроде бы перед нами объективная, безоценочная запись. ³⁶⁶ Но заметен оттенок иронии по отношению к говорящему. Невнятица его речи и какая-то неуловимость облика («полурабочий») создают определенное негативное впечатление. Нередки прямые ругательства — «гадина», «негодяй», «каторжник», «зверь», «скот». Иногда они почти не мотивированы, но поскольку, как правило, либо предваряют, либо заключают описание какого-нибудь «революционного эпизода», то их происхождение прослеживается весьма отчетливо. Неграмотная речь, одиозные поступки — Бунин может пересказывать их, и никак не откликаясь, не высказывая своего слова. Но они и сами по себе, красноречиво, без каких-либо авторских оценок могут определять настрой читателя. Но нередко пристрастность автора выставлена нарочито: следует пересказ одного за другим газетных сообщений, показывающих только изнанку революции и сопровождаемых едкими и меткими бунинскими репликами, зорко подмечавшими исключительно ложь революции. Негативному взгляду Бунина свойственно какое-то особое постоянство. При упоминании им лиц и положений раз высказанные им оценки обязательно повторяются, даже если изменились и люди и обстоятельства. Как часто Бунин клеймил газету «Новая жизнь», называя ее большевистской, и обличал писавшего в ней (и издававшего ее) М. Горького. Но изменилось содержание газеты — а бунинское проклятие осталось неизменным: «Купил “Новую жизнь” несколько номе-

³⁶⁵ Там же. С. 65, 70.

³⁶⁶ Там же. С. 55.

ров. Сейчас читаю номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков».³⁶⁷ Революционеры отвратительны, и потому, что они революционеры, и потому, что они отказываются от революции, которую сами вызвали — бунинские оценки вызывающе прямолинейны, но для него здесь нет противоречий. Он подмечает лишь шатания тех, кто готовил переворот, а затем отрекся от него. Он видит не обстоятельства, а только лица, действующие применительно к обстоятельствам.

Отвращение к насилию, защита его жертв — ось бунинских дневников. Но так ли бескомпромиссно он обличает насилие и по другую сторону баррикад? На этот вопрос прямых ответов нет. О «белом терроре» Бунин пишет мало, неохотно, иногда торопливо обрывая такие записи едва ли не на полуслове: «“Революции не делаются в белых перчатках...” Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах».³⁶⁸ Он иронизирует по поводу газетных сообщений о «зверствах» белых, выискивая в них гиперболы и противоречия. Он многое недоговаривает, ему явно неприятно касаться этой темы. Его рассуждениям здесь свойственна какая-то сдержанность, не исключаяющая в чем-то и сочувствия: «Народу, революции все прощается, — все это только “эксцессы”. А у белых, у которых все отнято, поругано... — родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры — “эксцессы”, конечно, быть не должно».³⁶⁹ Ставить на одну доску красный и белый террор он не желает. О бесчинствах красных он говорит много и громко, о репрессиях белых — вскользь и мимоходом. Он, конечно, не одобряет «эксцессы» белых, но все же находит им извинения; поступкам красных он не допускает никаких оправданий. И не случайно говорится в дневнике о мести за перенесенные обиды — эти записи оказываются наиболее эмоциональными, впечатляющими по накалу чувств. Мы видим, однако, и другое. С возмущением он описывает погромы, и не желает выяснять, на чьей стороне были их жертвы, какие идеи защищали виновники погромов и можно ли это оправдывать как ответ за репрессии.

Почему так ненавидел революцию Бунин? Нищета, грубость, безграмотность, анархия, бескультурность, жадность, зависть, ложь — вот плоды революции, на которые прежде все-

³⁶⁷ Там же. С. 57.

³⁶⁸ Там же. С. 94.

³⁶⁹ Там же. С. 108.

го обращает внимание писатель. Особо отмечено лицемерие «красных», весьма заметное на фоне их демократической риторики — описаниями бесчестности, взяточничества, грабежа. И прежде всего, что отвращает Бунина от революции — это ее хаос, в котором перемешаны и девальвированы все основные человеческие ценности, который делает непрочным и самое существование человека. Все, что выходит за рамки привычных, устоявшихся норм цивилизации, представляется Бунину абсолютным грехом. Бунин — человек порядка, «лада», он классик, а не мятущийся романтик. Он ценит упорядоченность, красоту, пропорциональность — в лицах, поступках, в речи и письме. Поэтому и веет от его описаний природы не экстазом, а умиротворенностью. Все, что не укладывается в этот порядок, нарушает гармонию — изломанный Бальмонт, кричащий Маяковский, экстаичная Цветаева, танцующий Белый, ругающийся комиссар, революция, облавы, лживые газеты, запутавшийся Горький — сразу вызывает у Бунина тотальное отторжение.

В дневнике 1917–1918 гг. уже отчетливо видна генеалогия бунинской антиреволюционности — от мелких обид и стычек до безоглядной, нарастающей неприязни ко всему, что имеет отпечаток нового режима. Послефевральская анархия 1917 г. стала началом психологического надлома Бунина, не чуждого в молодости и народопоклонничества и либеральных увлечений. Газеты читаются «прыгающими руками», описание современников все чаще срывается в крик, есть какое-то предчувствие обморока, мерзость почти физически ощутима. «Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит..., окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего еще ждешь в горячечном напряжении всех последних ... сил» — писал позднее Бунин в «Окаянных днях».³⁷⁰ Он еще не «бывший», но став им впоследствии, не признал особых отличий своего существования 1917 г. от «революционного» жития последующих лет. Еще не обернулись «первые дни свободы» сплошным кошмаром, но какие-то приметы грядущего ужаса улавливаются им в «раскрепощенных» людях: фразеология, нарушение устоев, ложь, чувство безнаказанности. Уже тогда оценки Бунина безапелляционны, хотя и не сопровождаются подробной мотивацией, и не обращается он так часто

³⁷⁰ Там же. С. 165.

к слухам и антиреволюционной публицистике прошлых лет для подтверждения своих наблюдений — прием, обычный в «Окаянных днях».

Политическое унижение революцией — развал армии, потеря прочной власти, разгул демагогии — во многом совпало у Бунина с личным унижением: косыми взглядами мужиков, зарившихся на его добро, укорами в «барстве», беспочвенными оскорблениями и подозрениями, постоянной тревогой за свою жизнь и за жизни близких ему людей. Это унижение передано в дневнике очень пластично, зримо: перед нами запись не столько происшествий, сколько ощущений автора, его незаживающей обиды. «...Молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир..., уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: «Покурить!» Мужиков это возмутило — «всякий свой должен курить!» Он: «Тут легкий». Я молча дал. Когда он ушел, «солдат» рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали — и без результата: «Нынче спички дешевы... сожжет, окрадет»³⁷¹. Унижение пережито очень сильно и как следствие этого — сгусток ненависти, перешедшей в ругательства: «Гнусная тварь». Бунин перебирает детали происшествия, чувствуя горечь нанесенного оскорбления («мне кратко, тоном, не допускающим возражений»), утешает себя тем, что кто-то хотел его защитить, снова говорит о своем унижении («я молча дал»), пытается смягчить его рассказом о том, как многие порицают его обидчика, но чувство унижения все равно не исчезает. «Вечером газеты. Руки дрожат» — так кончается эта дневниковая запись 31 августа 1917 г. Это личное унижение продолжается и позднее. Описание его находим и на страницах «Окаянных дней»: «Встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь, и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: — Деспот, сукин сын!»³⁷². И точно так же в дневнике вслед за этой записью начинается рефлексия автора — тут и обида, и даже самооправдание, и возмущение обвинением в «деспотизме».

Очень неприятно для Бунина и то, что в революции преобладает прежде всего «материальный интерес»: «И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить на счет еды.

³⁷¹ Там же. С. 36.

³⁷² Там же. С. 74.

Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло».³⁷³ В другой дневниковой записи — 7 июня 1918 г. — это ощущение высказано еще более бескомпромиссно и жестко: «Кучки, беседы, агитация — все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» — дальше кармана у этих скотов фантазия не идет».³⁷⁴ Этой грубости «материальных» запросов революционной толпы соответствует и грубость внешнего облика революционеров, часто отмечаемая на страницах дневников. Создавая их портреты, Бунин дает простор своему сарказму и безжалостной наблюдательности. Рисуя их, он ничем не стесняется и зачастую такой портрет — не зеркало, а просто карикатура. «Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту... Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджака — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены...»³⁷⁵ — это далеко не типическая характеристика обычного оратора революции, а утрированный шарж, скорее сгусток того, что наиболее отвратительно для Бунина в облике человека. Под стать этому портрету и живописный набросок неперменного слушателя и участника революционных митингов: «Весь день празднующий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы — не говорит, а все только спрашивает: и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню».³⁷⁶ Идет какое-то нагнетание отвратительных подробностей, вид этих людей для Бунина просто физически омерзителен. Говоря о матросах, но прежде всего подмечает звериные приметы в их лицах: «Зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей»,³⁷⁷ увидев революционных манифестантов и услышав их пение, записывает: «Голоса утробные, первобытные. Лица у... мужиков, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские».³⁷⁸ Примеров таких описаний можно приводить много, но иногда

³⁷³ Там же. С. 156.

³⁷⁴ Там же. С. 151.

³⁷⁵ Там же. С. 97—98.

³⁷⁶ Там же. С. 98.

³⁷⁷ Там же. С. 103.

³⁷⁸ Там же. С. 81.

и описаний нет, а есть только ругательства: «пещерные люди», «негодяи», «твари».

И, наконец, еще одно явление Бунин подчеркивает очень часто — это фальшь и лживость революционного языка. Любые революционные декламации, высокопарные воззвания, все эти «агитки», употребляющие все лозунги равенства и братства, вызывают у Бунина отвращение. Его гнев одинаково обращен на каждого из адептов нового языка, независимо от их партийности — даже если это были либералы-кадеты. Не жаловавший в писательском ремесле экзальтированную театральность, порицавший романтические «выверты» Горького, облицавший неестественный язык декадентов, Бунин и в своих политических откликах многое мерит строгим взглядом художника: «Какое обилие новых и высокопарных слов? Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь».³⁷⁹ И эту же мысль он оттеняет особо, сравнивая французскую и русскую революции: их риторика повторяется, поскольку одна из самых отличительных особенностей всякой революции — «бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана».³⁸⁰ Больше всего его возмущает ложь нового языка, маскирующего цветистостью фразы разгул террора, произвол преступной толпы, насилия и грабежи. Он сообщает о погромах в Жмеринке и Знаменке и тут же делает характерную оговорку: «это называется, по Блокам, “народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции”».³⁸¹

Кто виноват в революции? — Этот вопрос постоянно задает себе Бунин. Старый порядок он лишь чуть журит, порицает слегка и всегда не прочь сравнить прошлое и настоящее. Первое оказывается у него намного более благородным, честным, добрым и даже прекрасным — это антитеза «Окаянным дням». Обличение царского режима является, по Бунину, заблуждением прежде всего потому, что стали зримыми плоды нового порядка. Обвинения монархии лживы для него еще и потому, что они лицемерны, что высказывали их люди, сами очень далекие от народа, не жившие его заботами: «“Развратник, пьяница Распутин...” Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из “Медведей” и “Бродячих собак”».³⁸² Народнические «агитки», разоблачавшие «ужасы царизма», Бунин отвергает

³⁷⁹ Там же. С. 70.

³⁸⁰ Там же. С. 91.

³⁸¹ Там же. С. 141.

³⁸² Там же. С. 83.

из-за того, что находит там преувеличения, а их язык уж очень близок к языку агиток большевистских. С иронией цитируя советскую листовку, клеймившую деникинцев как «озверелых от пьянства гуннов», Бунин замечает: «Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной «литературы»»,³⁸³ литературы, о которой он здесь же скажет, что она сто лет позорила все классы общества «за исключением какого-то “народа” — беслошадного, конечно — и босяков».³⁸⁴

Неприязнь к народопоклонничеству интеллигенции заметна на многих страницах бунинских дневников. Это поклонение не было для писателя таким уж бескорыстным: «Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали».³⁸⁵ Без обличений жизнь интеллигента была бы скучна, поскольку неистребимо в нем желание быть на виду, прослыть оппозиционером, вызвать шквал аплодисментов. Бунин, правда, готов признать искренность заблуждений многих борцов за «светлое будущее», но от этого его ирония не становится мягче — слишком уж жуткий счет предъявила история за эти мечтания. Умеряя чужой восторг перед «чудо-богатырями, нежнейшими с побежденным врагом», «кристальным человеком, всю свою жизнь отдавшим народу», отмечая и другие, подобные им, народнические мифы, Бунин как-то незаметно сводит желание людей сделать жизнь лучше, помочь нуждающимся, облегчить состраданием участь обездоленных к сплошной игре. Это не случайно, потому что он видит прежде всего итог их усилий — революцию, отнявшую у людей их право на жизнь, погрузившую их в нищету, сделавшую их бытие еще более горьким и бесприютным, чем прежде.

Не потому старый порядок рухнул, что он внутренне прогнил, а прежде всего потому, что подталкивали его к пропасти, не заботясь о нуждах России, полчища революционеров, и не было им ощутимого отпора — таково убеждение Бунина. Что-то толстовское чувствуется в его отрицании важности политических перемен для народа. Для Бунина это забава бар, начитавшихся радикальных брошюр. «Не народ начал революцию, а вы», — возражает он собеседнику, утверждавшему, что «Россию погубила косная, своекорыстная власть» — народу было

³⁸³ Там же. С. 167.

³⁸⁴ Там же. С. 94.

³⁸⁵ Там же. С. 155.

совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны... Не врите на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны, как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши ... и Временное правительство, и Учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей»». ³⁸⁶ Все это так. Но какое-то ощущение несправедливости, неправедности прошлого жития проскальзывало и в бунинских дневниках. Он, к примеру, пишет о почта-льонше Махоточке, выпрашивающей у барина лишние копейки за доставку телеграммы — и звучит в его рассказе стыд и раскаяние за сытый укор голодному человеку, за то, что в депеше, которую везла за десятки верст заиндевшая на лютном морозе Махоточка, только и было: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!». ³⁸⁷

Бунин — не политик, Бунин — художник. Для него признание какого-нибудь полуграмотного мужика, особенно созвучное собственным настроениям, значит больше, чем тысячи документов, объективно раскрывающих «правду» революции. В его рассуждениях мы находим всего лишь две-три ноты, может быть, очень важные — но революция изначально полифонична, а вот этой-то полифонии, пытливого изучения аргументов «за» и «против» революции, в дневниках и нет. Но и те несколько нот крайне ценны, потому что могли быть высказаны только Буниным — человеком, обладавшим столь тончайшей художественной чувствительностью, что и шепот ему мог казаться криком, до пристрастности непримиримым ко всякой лжи. Чтобы почувствовать пульс революции, ощутить ее живую ткань, достаточно оценить и частный отклик человека, чуткого, тонкого, одаренного редкой впечатлительностью, интуицией, обладающего особым художественным видением, в котором причудливо сплелись «поэзия» и «правда». Как и предсказывал Гейне, трещина разломанного мира прошла через сердце поэта — и, как всегда, эта трещина оказалась для него слишком глубокой.

³⁸⁶ Там же. С. 85.

³⁸⁷ Там же. С. 75.